

Первая верстка

Кто-то придумал описать путешествие по собственной комнате. Кажется, это был неведомый мне граф Франсуа-Ксавье де Местр. Или Вячеслав Пьецух, которого я прекрасно знал. А может быть, тот и другой вместе, поскольку они оба подобные путешествия совершали — и не только совершали, но и описывали.

Неплохая затея, однако! Мог бы и я отважиться на нечто подобное. Но зачем, раз две попытки уже были, а третьим быть я совсем не хочу? Если бы там третьим после Льва Толстого или Марселя Пруста, моих кумиров, властителей дум, любимых писателей, то еще куда ни шло. Но после какого-то там гениального Пьецуха, который преуспел разве что в своих эссе (а рассказы и тем более романы у него не получались), и совсем уж случайного для литературы де Местра я третьим быть не желаю. Увольте!

Поэтому путешествовать по своим комнатам лишь ради того, чтобы их описать, не стану. Вместо этого просто замечу вскользь, что мои окна выходят на Измайловский бульвар, а от него совсем недалеко до того памятного для русской истории места, где будущий царь Петр обнаружил в амбаре Льяного двора Измайловского дворца «судно иноземной работы» — знаменитый ботик и после этого страстно увлекся — попросту заболел (занедужил) — морским делом.

Домá же на бульваре — сталинской застройки, и над аркой моего дома барельефом выложена дата: 1953 год. Таким образом, Измайловский бульвар сводит воедино детство одного царя и смерть другого. К этому можно добавить, что над Петром мрачно нависает тень его «злой сестры Софьи», жаждущей власти, а над Сталиным зловеще маячит Хрущев, который его погубил (не вызвал врача при случившемся с ним ударе), а затем всенародно оболгал на своем двадцатом съезде.

Но об этом — вскользь; в подробности вдаваться не буду.

На моем письменном столе — две дорогих для меня вещицы: во-первых, бюст Чехова в пенсне со шнурком. Одет Антон Павлович весьма элегантно. На нем домашний жилет с мягким отложным воротником из набивной ткани и бабочка. И здесь же вторая вещица — подставка для визитных карточек с круглым держателем, похожим на переносную антенну.

Бронзового Чехова привез мне из Таганрога мой друг — писатель Борис Евсеев, а подставку подарил кто-то из студентов.

Визитных карточек у меня давно уже нет, но подставка для них дорога мне тем, что в ее основании — старая пишущая машинка. Она похожа на ту допотопную (праведный Ной взял бы ее в свой ковчег) «Эрику», которая досталась мне по наследству от моей двоюродной бабки Сони, машинистки и стенографистки. Она жила в Борисоглебском переулке, напротив доходного дома своей подруги Елизаветы Вадимовны Группильон, чью могилу на Ваганькове я никак не могу отыскать, и двухэтажного дома Марины Цветаевой.

Навешая с мамой бабку Соню, я, пятилетний, забирался коленями на стул и одним пальцем печатал на «Эрике». Но печатал не всякую ерунду, а свои первые сочинения на сказочные, выдуманные или заимствованные из детских книжек сюжеты:

Из черного болота
На серебристый снег
Вылез для полета
Огромный человек...

Забавно все это, но, когда я это сочинял, то до галлюцинации ясно видел и черное болото, и серебристый от лунного сияния снег, и огромного человека с дьявольскими крыльями.

Рядом же, за дешевенькой ширмой с обвисшими локутами продранной бумаги, курил в кровати дядя Вава (Иван), брат бабки Сони. Он гениально играл в шахматы, но выдавал себя за сумасшедшего, чтобы не служить большевикам. Его могила на Ваганькове тоже затерялась, и некому вспомнить, где он похоронен: большевики памятника ему не поставили.

А хорош был бы памятник! Дядя Вава с босыми ногами, с папиросой в зубах за шахматной доской. Красота!

Письменный стол мой едва держится на скошенных ножках, хотя, что удивительно, не падает — покачивается, поскрипывает, но держится. Я не из тех пишущих, которые по антикварным лавкам выискивают для себя затейливые столы, полагая, что от этого зависит их вдохновение.

Стол у меня простенький — зыбкий, как мираж: это сравнение оправдано тем, что он подарен мне мамой как часть культового в советские времена мебельного гарнитура (стенки) «Мираж», за которым она долго охотилась — почти как Тургенев за вальдшнепами. Ходила отмечаться в мебельный магазин. Томилась и изнывала в ожидании *открытки*. Обещала кого-то *отблагодарить*.

Бедная мама! Хотя *хваленый и пресловутый* (как Бобби Фишер у Высоцкого) «Мираж» вряд ли того стоил, сделанный из покрытых лаком прессованных опилок.

И совсем другое дело наш буфет, мой ровесник, резной, с гребешком, настоящее дерево.

Прессованные опилки, как и хрущевские пятиэтажки, — знак миражных, мишурных шестидесятых. В пятидесятые же еще кое-что умели, старались не продешевить, держали марку..

После стола и буфета третья достопримечательность моей квартиры — рояль Bechstein. Я купил его, когда был несметно богатым (получил гонорар за книгу о китайском поэте Ду Фу в серии ЖЗЛ), а затем возил

с квартиры на квартиру, устраивая свою личную жизнь. Грузчики на широких такелажных ремнях перли его по лестницам.

Сейчас рояль безнадежно расстроен — можно играть лишь на белых клавишах, да и то без педали, поскольку отполированные до блеска педали так же безнадежно застревают.

Тем не менее я каждый день усердно занимаюсь. Учю что-то новое, вспоминаю старое, составляю программы — и себе, и моему другу Александру Фоменко, профессору консерватории, выдающемуся пианисту современности, как я его с шутливой иронией называю, для концертных выступлений. Он доверяет моему выбору, хотя на «выдающегося пианиста современности» ужасно сердится.

На стенах у меня висят картины моих друзей. На полках — книги, в том числе и мои собственные. Я не из тех, кто любит созерцать свои книги, жадно пожирая их глазами. Нет, мне бы их завесить (заткнуть) каким-нибудь лоскутом, лишь бы не видеть и не слышать: молчите, проклятые книги, я вас не писал никогда.

Но это — Блок, я же... нет, не буду их проклинать. Пока я их писал, они дарили мне сладчайшие минуты — как Петру его ботик. Число моих романов перевалило за двенадцать, хотя я всячески уговаривал себя, что на двенадцати (любимая цифра) остановлюсь. Но какой там!.. Пишу дальше, оправдывая себя тем, что некоторые мои беллетризованные (в духе Андре Моруа) биографии — почти романы, романы же подчас смахивают на биографии, так что с любимой цифрой никак не выходит.

Да и вообще, по Библии, считать — это грех, и Бог осудил Давида за его опрометчивые исчисления собственных войск. Поэтому как будет, так будет..

Рассказов, разбросанных и по журналам, и по книгам, у меня бесчисленное множество. С них я когда-то начинал. Борис Зайцев о себе где-то обмолвился: «Я начал

с импрессионизма». Он и во мне таился, вызревал — набухал, этот импрессионизм — обилие самых разных впечатлений, но я долгое время не знал, как к ним подступиться.

Как наклонить бутылочку, чтобы из нее потекло (толстовский образ). За какой кончик нити взяться и потянуть, чтобы задать форму этой бесформенной (створоженной) массе. И от этого ужасно мучился.

Помогла мне в моих мучениях, как ни странно, европейская новелла — от Мериме с его «Кармен» до Генри Джеймса и Томаса Манна. Почему странно? Я все-таки мню себя писателем русским. Я благодарен Владимиру Личутину, непревзойденному (по нынешним временам) мастеру языка, за надпись на подаренной мне книге об Иване Грозном: «Леониду Бежину, прекрасному русскому писателю».

Ну, положим, эпитет «*прекрасному*» можно и опустить. Можно даже и не называть меня русским писателем — и без всяких эпитетов это слишком большая честь.

Но вне намагниченного поля русской литературы, ее наэлектризованных (магических) волн, проскакивающих искорок, ее исканий и откровений я себя действительно не мыслю и существовать не могу.

Поэтому мне бы и держаться Толстого, Достоевского, Бунина, Зайцева, Замятина и Юрия Казакова, мне бы и возрасть на почве отечественной словесности, но не зря сказано: тот Англии не знает, кто знает только Англию.

Вот и меня в какой-то кризисный момент моего развития спасла европейская новелла — с ее повествовательной техникой, особыми приемами формовки материала, обтачиванием граней, шлифовкой...

Мои книги о Чехове, Данииле Андрееве, Александре Первом — старце Федоре Кузьмиче и Серафиме Саровском я мысленно объединяю в единый цикл, который хочу назвать «Хождение по тайнам». Я их действительно

выходил — если не как современник, то как *сопротранственник* великих.

Четыре книги — четыре ступени святости, начиная от скрытой религиозности Чехова и — до мистических откровений и чудотворства преподобного Серафима.

Написал я кое-что и о великом Китае. К китаистике хочу еще вернуться на склоне лет, когда, надеюсь, стану глубже понимать, что «Дао, способное выступить в качестве Дао, не есть истинное Дао» (первая фраза Лао-цзы).

По утрам я завариваю зеленый чай и сажусь за свой миражный стол со скошенными ножками, чтобы заработать себе завтрак — написать страничку. После этого варю себе два яйца (покупаю подешевле, чтобы зря не тратиться на еду), вспарываю пачку творога, поливаю медом, с чувством исполненного долга съедаю и снова — сажусь.

Иногда отвлекают телефонные звонки, иногда сам звоню друзьям, чтобы их отвлечь от мольберта, рояля или письменного стола. И так до обеда (обычно не ужинаю).

Вторая половина дня у меня — для жизни. Когда-то моя жизнь была разнообразной и насыщенной — главным образом глупостями, заблуждениями и ошибками, которые я без счета совершал. Признаюсь в этом искренне, без всякой манерности. Ссорился с кем не надо и дружил с кем не следовало. Не делал нужного и делал все сплошь бесполезное.

Но при этом все-таки мне посчастливилось поездить, побывать в разных странах — и в Европе, и на Востоке. Даже в мой любимый Китай однажды чудом занесло: я побывал там и на Севере, и на Юге. Увидел Шанхай и прекрасный город Сучжоу с его садами и каналами.

Удалось мне некоторое время побыть, что называется, большим человеком: главным редактором издательства «Столица» и ректором созданного мною Института журналистики и литературного творчества (ИЖЛТ).

Мы первыми напечатали тогда «Библию для детей», а институт превратили во вторую Вольную академию духовной культуры (по Бердяеву).

Участвовал я и в комедии распада последней советской бюрократии: Петр Проскурин, тогдашняя шишка, секретарь СОЮЗА писателей, который уже ЮЗОМ (без буквы «С») сползал в небытие, назначил меня и Алексея Бархатова, отца знаменитого ныне оперного режиссера Бархатова, своими двенадцатыми заместителями.

Смешная была комедия — обхохочешься...

С институтом двадцать семь лет мы, стиснув зубы, держались. Сменили два адреса: сначала Костянский переулок, где некогда обреталась «Литературная газета», на Переведеновский переулок, адрес мукомольного техникума с обсыпанным мукой директором, а затем Переведеновский — на Калашный: там на задах Домжура мы просидели двадцать лет. Не бесплатно, конечно, но об этом — молчок...

Славное было время, и ИЖЛТ разместился аж на двух этажах. На месте разделочного цеха ресторана, где некогда рубили салаты и вертели котлеты, мы создали апофеоз дизайна — наш Красный зал — для лекций и концертов. Купили рояль Steinway: Александр Фоменко для нас выбрал лучший. Я сам на нем играл, а студенты из-за дверей слушали.

Мы пригласили лучших преподавателей — истинных златоустов. К нам валом валил народ — и студенты, и вольнослушатели. Мы процветали, как сады Лицея, как рощи Академа.

Я даже рискну (не побоюсь) утверждать, что ИЖЛТ как совокупность умственных усилий лучших его профессоров и самых пытливых, ищущих студентов был воплощением... Софии Премудрости Божией, ни больше ни меньше.

Эта отчаянно смелая мысль пришла мне в голову, когда я за своим письменным столом перечитывал книгу

Алексея Федоровича Лосева о Владимире Соловьеве. Соловьевская софийность, по Лосеву, — это «картина всей бесконечной действительности, которая сама еще не стала чувственной и исторической действительностью, но уже является ее прообразом или, как мы сказали, ее заданностью, замыслом, законом и методом ее бесконечных осуществлений, который будет ею руководить, когда она будет сотворена».

Замысел, закон и метод — вот что сквозило в умственных построениях наших блистательных профессоров — таких как Владимир Микушевич (смотри его интеллектуальную программу на ТВ «Культура» — «Магистр Игры»), Елена Драгилина-Черная, Сергей Травников, Иван Негреев, Евгений Жаринов, Арсений Дежуров, чьи проекты еще не стали действительностью, но уже пронизаны светом Софии.

А потом стало невмоготу от рутины, от нынешних порядков (вернее, беспорядков) в Рособрнадзоре. Он, видите ли, призван надзирать — этакий надзиратель...

Впрочем, мы не исключение. Лев Толстой, как известно, вынес из дома ружье, когда явились (нагрянули) непрошенные гости — проверять и трясти яснополянскую школу. Значит, и тогда было не лучше, да и вряд ли когда-нибудь будет. Во всяком случае, надежды почти нет. Разве что детям и внукам наших нынешних студентов когда-нибудь посчастливится...

Поэтому мы сами вернули лицензию, чтобы нас не мытарили бесконечными проверками и не обтрясали как грушу; чтобы не давать взятки и не участвовать в безумстве никому не нужного бумаготворчества, не плодить бесконечные отчеты, планы и циркуляры.

подавитесь вы вашей лицензией!..

После этого я по Калашному переулку больше не хожу. Огибаю его сторонкой, чтобы не смотреть на руины бывшего ИЖЛТ. Нет, наш дом напротив посольства Нидерландов по-прежнему там стоит, в окнах что-то мелькает;

Красный зал разгородили на отсеки, какие-то люди сидят за столами, но для меня это руины — прежних замыслов, мечтаний, надежд, творческих взлетов и озарений.

Институт журналистики и литературного творчества... Валерию Аграновскому, нашему преподавателю (под старость принимал студентов у себя дома, угощал чаем с пирогами), последнее слово в названии казалось лишним. Он предлагал назвать институт суше и четче: Институт журналистики и литературы. Все!

Может, он и прав, но тогда — без творчества — не было бы и Софии, без Софии же вообще нечего и ого-род городить. Институт, возможно, и уцелел бы как Институт журналистики и литературы (против него так не ополчалась бы бюрократическая рать), но смысла в этом не было бы — уподобиться множеству других *журналистик и литератур*.

Недавно в Сети появилось трогательное послание нашего Арсения Дежурова: «Вот уже три года, как завершилась жизнь Института журналистики и литературного творчества, который я так любил и уважал — прямо пропорционально моей любви и уважению к его ректору Леониду Бежину — добрейшему и образованнейшему человеку нашего времени, супруге ректора и проректору Наталии Бежиной — отважному штурману учебного процесса, который освободил педагогов и студентов от бюрократической чуши, так затрудняющей работу в высшей школе. Я с теплом и нежностью вспоминаю моих коллег, в особенности Виталия Бабенко, Ивана Панкеева, Евгения Жаринова, Сергея Травникова, Елену Сомову, Ивана Негреева, с которыми меня роднили гуманистические принципы образования и воспитания студентов. У этого вуза не было недостатков до последнего дня. Он не простился с нами. Он боролся до последнего с государственной машиной и потерпел предсказуемое поражение. И тогда он незаметно умер. Слишком незаметно для такого яркого явления моей жизни».

Далее Арсений Дежуров подробно, с юмором пишет о замшелых корнях «из цвета русской интеллигенции» (профессорах ИЖЛТ) и обильных всходах и плодах — выпускниках и бывших студентах: «Их творческая жизнь продолжается, а значит, сердце ИЖЛТ бьется».

И в самом деле... бьется, судя по тому, какие хлынули отклики на послание Дежурова — с умилением, восторгами, ностальгическими вздохами по поводу тихо опочившего института.

Однако хватит об этом: надо сказать и о другом.

С тех пор как институт закрылся, моя собственная жизнь усохла и ужалась. Правда, появилось больше времени, чтобы писать. Но что такое время — субстанция загадочная, недаром о нем столько размышлял Набоков (особенно в романе «Ада»).

Время похоже на дорожный баул: чем больше в него пихаешь, утрясаешь, уминаешь коленом, тем больше места остается свободным и тем легче становится баул, если в нем не гири, конечно, а страсти и увлечения.

Китайский эпатажный вольнодумец III века Цзи Кан писал о себе с сарказмом: «Я не читаю классических книг, по натуре небрежен и ленив, медлителен в движениях. Нередко месяца по полтора я не умываюсь и мою голову, только когда она начинает страшно чесаться. Захочется справить малую нужду, а я терплю и не встаю с места. Встану лишь, когда все внутренности начнут перекручиваться. К тому же я уже давно отличаюсь подобной распушенностью. Желания мои неупорядочены и противоречат правилам хорошего тона. Лениость и медлительность соединились в них. Но сверстники прощают мне это и не порицают за недостатки» (перевод Л. Д. Позднеевой).

Чем-то мне это близко. Да, знаете ли, чем-то неуловимым... хотя и время другое, и наше отечество с его сладким и приятным дымом, увы, не Китай...

Итак, вот они, две половинки, похожие на точно — по середине — разрезанное яблоко: жить и писать. Ну а бывает

ли так, чтобы эти половинки снова соединились? Да, однажды у меня так было, и такого головокружительного счастья я больше никогда не испытывал.

Летом 1979 года мы жили на Истре — в Манихине. Жена уехала в Москву по делам, а мы с маленьким сыном Сережей остались на даче, если можно так назвать кухню, террасу и небольшую комнату. Вечером жена вернулась и сказала, что в почтовом ящике нашей тушинской квартиры меня дождался конверт из издательства «Советский писатель».

Она порылась в сумке, набитой всякой ерундой, которую так любят женщины (для них это совсем не ерунда), достала слегка помятый издательский конверт и протянула мне, держа его за уголок двумя пальцами.

Сама она конверт, конечно, не вскрывала: моя переписка с издательствами, куда я рассылал рукописи, ее мало интересовала. Я же, словно предчувствуя что-то, лихорадочно, дрожащими руками надорвал конверт.

И мне на колени — о боже! — упала плотная, увесистая верстка *моей* книги: я впервые увидел себя напечатанным. Я не поверил своим глазам, голова моя пошла кругом: этого не могло быть! Могло быть что угодно, но только не это, поскольку *это* — верстка *моей* книги!

Вернее, так: верстка *моей собственной*, а не чьей-то там книги — не того же Пьецуха или графа Ксавье де Местра. Собственной не в том смысле, что она мне принадлежит как собственность. А в том, что я выносил ее, как ребенка. Я ее написал, она же неким чудесным, несбыточным образом отделилась от меня и легла типографским шрифтом на бумагу.

Не машинописным шрифтом, каким я ее укладывал (отстукивал) много раз, после чего менял ленту и чистил иголкой буквы, а именно типографским, набранным рабочими в синих халатах и круглых очках (такими я их себе представлял), с кончиками пальцев, выпачканными типографской краской.

А это было совершенно невероятно, чтобы рабочие набирали придуманные мною строки. Мало ли что я там напридумываю, а они — набирают. Невероятно!..

Словом, что я испытал при этом, держа на коленях свою первую верстку, — лихорадочный озноб, счастье, восторг, неземное блаженство? Осиянность Софией Премудростью Божией, в конце концов? Не знаю. Но только впоследствии у меня вышло еще сорок книг, но ничего подобного я уже не испытывал.

Если кто-то мне не поверит, усомнится в моем признании, оспорит его, сочтет неким преувеличением, то вот извольте доказательство: «Впоследствии нередко были в моей жизни моменты очень большого счастья. Но еще ни разу до сих пор не испытывал я такого сильного наплыва восторга, как в ту минуту, когда мои глаза увидели эти правильные строчки черных букв, отчетливо напечатанных на белой глянцевиной бумаге. Припадок обуявшей меня радости носил даже несколько дикий характер, и я не сумел ее выразить не чем иным, как безумными скачками через пять ступенек сразу» (все происходило на лестнице).

Это пишет Куприн о своем первом напечатанном рассказе, а его оспорить трудно: все-таки классик, признанный писатель, знавший такую славу, которая редко кому выпадала. Но это же могли бы написать и Толстой, и Бунин (он бы только слегка поправил что-то у Куприна), и кто угодно. Хотите и вы испытать нечто подобное, любезный читатель?

Пишите...

25 апреля 2023 года

Коммунизм не за горами

Уж чего-чего, а возглашать — зычно, на всю страну, чтобы слышно было и по глубоким сибирским шахтам (не только угольным, но и тем, где дежурят ракетчики), и высокогорным аулам, у нас умеют. Мастера мы по этой части великие. За сорок четыре года (отсчитывая с нынешнего шестьдесят первого) советской власти чего у нас только не возглашали!

В сорок первом, как известно, дунули-плюнули в радийные микрофоны и возгласили начало войны; в мае сорок пятого — Победу, в пятьдесят шестом негласно (доклад был секретным) — разоблачение невинно осужденных и реабилитацию культа.

Вернее, наоборот, как нас, мальчишек, дабы мы не завирались и не мололи чепухи по нашему детскому недомыслию, поправляли взрослые. Наоборот же значило: разоблачение культа (не путать с шестизарядным револьвером системы кольт, хот, в общем-то, это одно и то же — культ и кольт) и реабилитацию осужденных.

А вот в шестьдесят первом возгласили, что нынешнее поколение советских людей дружно взопрет и одолеет, осилит новую небывалую высоту — коммунизм.

Иными словами, будет жить при этом самом коммунизме. Нынешнее, то бишь взятое по срезу: родители — дети. Деды и бабки — те, может быть, и не доживут. Снесут их на кладбище не вкусившими райской коммунистической жизни. А вот родители и особенно дети, хоть и отчаянные шалопаи (стекла в доме бьют вдребезги футбольным мячом) вкусят непременно и будут благоденствовать как у Христа за пазухой.

Ну, если и не у Христа, то у Никитки Хрущева, лысого как шар, в брюках, подтянутых чуть ли не до подмышек. Он с трибуны и наобещал всем райскую жизнь: от